



Виктор РОЗОВ:

«ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ ЧУДЕС»

Давая согласие на интервью для «Литературной России», известный советский драматург Виктор Сергеевич Розов предупредил — будет говорить не на профессиональные темы. Так и получилось, что беседа эта затрагивает широкий круг вопросов, так или иначе волнующих писателя. И началась она с разговора о гласности.

— Мы сейчас медленно, с трудом осваиваем гласность, и вот даже что-то предположил заветный свой Гайд-парк, на манер англичан...

— Правильно, должна же быть возможность пары выпустить. Хочет человек высказаться — пусть, очень даже хорошо. Знаете, есть выражение: сказал и обогнул душу. Я бы, правда, в наш Гайд-парк не пошел.

— А в принципе вам, Виктор Сергеевич, всегда хватало возможности высказаться?

— Я думаю, если копнуть глубоко психологически, — вероятно, но я все-таки дитя нашего длинного сложного времени со всеми его перипетиями и последствиями. Видимо, так: старался никогда не говорить того, чего я не думаю, но — из-за страха — не говорить и то, что в данное время нельзя сказать. Главным образом, чтобы не навлекло это последствия на моих близких.

Вобщем я не идеалист и не считаю, что и теперь можно говорить все, что ты думаешь. Мало ли какие глупости мне или кому другому взбредут в голову! Вы скажи сначала их своим друзьям.

Я не понимаю этих заклятий: свобода слова. Ну, тогда давайте ругаться по-матерному: свобода слова — почему же нельзя? Вот за границей и в театре ругаются. Я видел в Лондоне спектакль о нашей революции — там и Ленин, и Сталин, и Луначарский, и кого только нет. И вот Ленин со сцены по матушке пукает. Против я этого? Ну, так как я никогда не любил сквернословить, мне это не нравится, но сказать, что я против — значит, лишит другого возможности

какого-то неведомого мне наслаждения... Нет, не люблю сквернословия.

Или вот на собрании каком-нибудь слушаешь и думаешь: да уж помолчи ты, ведь душу вымываешь, двадцать минут мелешь о том, что все знают давным-давно. «Как верно Михаил Сергеевич сказал, как Михаил Сергеевич умно заметил, как Михаил Сергеевич глубоко взглянул...» Я как-то не выдержал: слушайте, товарищи, давайте друг у друга не отнимать время, мы все согласны с Михаилом Сергеевичем, а вот кто с ним не согласен — тот пускай так и говорит, это нам интересно послушать. А то эти вечные запевки...

Пусть люди высказывают свои интересные мысли и то, что называется «заблуждения». Мы ведь еще не знаем: что — заблуждения, а что — не заблуждения... — Говорящему важно получить оценку, но вот совсем другое дело — последствия оценки...

— Чтобы эти последствия не имели административно наказуемого характера — вот что очень важно.

— Так ведь у нас куда ни глянь — идеологический фронт, блиндажи, скопы, колючая проволока... «Фронт» — это поневеле подразумевает армейскую дисциплину, согласно которой неуставные слова относятся к наказуемым проступкам.

— Я против этого. Вот я со многими согласен из того, что пишут в журнале «Молодая гвардия». И, как свойственно всякому человеку, имея свои убеждения, я как-то возмущаюсь, эмоция определенная выражаю. А я должен просто принять чужое мнение или не согласиться с ним, иметь возможность высказать свою точку зрения.

Уж какие глупости там пишутся про поэтов военного поколения — просто ос-

рассчитываться, думая, что тот его сейчас уволит. А антрепренер — умница — говорит: хорошее начало, прибавляю пять рублей жалованья. Видите как, а?

Вот я написал в статье после смерти Эфроса, что его очень сильно тревил, — и назвал этих людей черны. И это действительно чернь — в понимании пушкинском. Так вы можете себе представить — нет, вы, наверное, даже не поверите, — что в Художественном театре — нет, не на Таганке, где некоторые люди совершали бестактнейшие поступки в отношении Эфроса — именно в Художественном театре, который был тогда в буре и делился на две части, видел я своими глазами черныш приоткрытого письма в Министерстве культуры или еще куда (у нас же все сразу в министерство или в ЦК КПСС пишут) — устроить, дескать, суд над Розовым за то, что он назвал людей черны, противопоставив какую-то аристократию простому народу. И я очень жалею, что они не подали в конце концов в суд, потому что я этот суд хотел бы устроить по телевидению, и это было бы для меня одно наслаждение и большое удовольствие.

Вот вам, пожалуйста, и свобода слова, — но позвольте и мне выразить свое отращение к таким поступкам. И если кто-нибудь публично оскорбит достойного человека — я моментально буду отвечать.

В свое время отвечу и на статью Вениамина Смехова «Скрипка Мастера», в которой автор пытается облить грязью светлое имя замечательного режиссера Анатолия Эфроса. Мерзкая статейка! — Свобода слова хороша тем, что она понижает людей таними, какие они и есть.

— Совершенно верно. Я бы дал еще больше свободы и той же «Памяти», которую с чужих слов знаю, и «Молодая гвардия» пускай высказываются. Ну и что ж особенного: гадко, противно, но зато знаешь, с кем имеешь дело.

А источник у всех верный: недовольство жизнью, которая сейчас есть. Только все недовольно — по-своему.

— А при этом чувстве вины, понятием — должно ли быть у всех поголовно? Как по-вашему?

— Нет. Нет. Есть в этом что-то такое ханжеское. Так уж и у всех? Если виноват на самом деле лично — нужно, конечно, нести вину: или в себе, или открыто бить себя в грудь. Вы понимаете, люди, которые совершали злодеяния в старые времена, и сейчас живы — они, наверное, плохо спят. И вину, наверное, чувствуют. Хотя ум — а он у человека всегда несут — оправдывает их поведение в собственных глазах.

Вот один человек совершил против меня неблагоприятный поступок — давненько. Я ему простил, поскольку ничего не последовало, простил... И как-то мы встретились, заговорили о чем-то близко к этой теме, и он: «Вы на меня еще, наверное, сердитесь?» «Да нет, ну что вы...» — «Ну, Виктор Сергеевич, вы должны понять: такое было время...»

— Ложь с честными-честными глазами...

— Но ведь многие и сейчас еще искренне любят Сталина, верят в правоту сталинских дел искренне. Я думаю, что подобным заблуждениям мало поддавался, у меня не было иллюзий. Интересные я чувства испытывал в те времена: страшно было, но при этом — я даже поражаюсь себе — понимал все то, о чем вот сейчас пишу. Да, это так. Никогда я не верил в «зловещее убийство Горького», во всех этих «врагов народа» и «врачей-убийц» — это надо быть кретином и идиотом. Но таких идиотов на святой Руси очень много.

Я помню, когда были «врачи-убийцы», приехал в один дом, а по пути в аптеку на Серпуховской купил лекарства. И там среди прочих жива одна простая женщина, работница завода, которая первое, что сказала — с такими выпученными глазами: «Слыхал — врачей всех арестовали, все аптеки закрыли, все продавали яд!» Я говорю: «Нина. Вот я только что из аптеки купил лекарства». А она — даже видя, что у меня в руках: «Нет, нет, этого нет! Все закрыто!»

Тут еще психологию нужно учитывать: людям хочется нерыночного, понимаете? Вот умер человек — и говорят: «А вы слышали — он отравился...» Им больше нравится, если отравился, нежели просто так умер, от старости хотя бы. Просто так — и — неинтересно. Я вот, например, думаю насчет Дмитрия Успенского, что он действительно просто упал на нож и закололся, как и было сказано в коммюнике того времени. Но ведь лучше, если убили, да еще по наущению царя, — ах, боже мой, какая прелесть! Народ любит сказки, любит детективы.

И лучше всего в народе написан в «Борисе Годунове» Пушкин: «Но знаешь сам: бессмысленная чернь изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна, для ис-

тины глуха и равнодушна, а баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпы безумцев привлечет Димитрия воскреснувшее имя». А?

— Это, скорее, о толпе...

— Толпа тоже может быть разная. Толпа, которая давила друг друга на похоронах Сталина, — и толпа, которая ликовала на Красной площади в День Победы. Толпа, давящая друг друга, детей, женщин, как стадо обезумевших животных, — и толпа, которая ликует от общего счастья, от невыразимого счастья.

— Толпа управляема...

— Но она может быть и самоуправляема. И тогда она теряет контроль — как на похоронах Сталина. Меня тогда вырвало внутреннее чувство опасности: я ненавижу толпу такого характера, и меня спасло отращение к бегущему стаду. Во время очень спохватился — и еле выползал оттуда... Толпа же не внемлет голосу разума, в ней легко пробуждается стадный инстинкт.

— А что вы в ту пору испытывали? — Я испытывал только — что будет? Произошло — как чудо! Ой, что будет?! Как это меня интересовало! И я тогда даже не думал, что доживу до прозвучавшего на двадцатом съезде, что про Сталина можно с такой трибуны сказать плохо — то есть правду.

И началась тогда новая мимикрия. Вот и сейчас мимикрирую очень много. И поэтому я беспокоюсь. Я рассчитываю, что перестройка будет длиться лет пятьдесят или, может, семьдесят. Чтобы привести к более-менее сбалансированное состояние промышленности, финансы, жилищное строительство и прочее, чтобы человека «сбалансировать» — на это уйдет очень много времени. У нас еще чем народ испорчен: вышло постановление — и считают, что завтра уже должно все быть! Раз постановление ЦК — так вот завтра и подай! Ну что, ей-богу, это такое?

Я вот летом плавал на теплоходе — и уж заслушался, как косят эту перестройку... Вот вам разговор: «Затеяли эти... семейный подряд. Так ведь что у них выходит — по триста рублей на человека! Я бы их всех своими руками передудил — что же это теперь делается!» И мужик этот — лицо какое-то звероподобное, громадный, здоровенный — действительно готов, я верю, своими руками душить деятелей перестройки. И ведь громко, на всю публику об этом кричит. И тут же кто-то еще поддвигает: «Да-да-да, вы знаете — совершенно верно!»

Сопротивление очень большое, зависть страшная в людях. Главное — Сталин разрушил нашего человека, в массе разрушил... Он развил дурные наклонности. Сальериевская зависть — она есть у всех, в большей или меньшей степени. У всех ведь одинаковая гамма чувств — у вас, у меня, у кого угодно, — только у одних что-то развито больше, а у других меньше. И любая мерзость способна развиться сильно. Вот Сталин и развил: доносительство, зависть... Завидуют не только деньгам — завидуют уму, завидуют таланту, завидуют красоте. Вот идет красивая женщина — и обязательно какая-нибудь баба гадкая скажет: «Ишь, как голову нестес, будто королева какая, — тыфу, так бы и плюнула ей в харю!» А? Всеми завидую — это мерзевшее чувство. И оно поощрялось. Уравниловку проповедовали столько лет, что она въелась в суть. И она очень тешила душу мерзкого обывателя.

— А чем она для него привлека-

тельна? — А тем, что он — такой же. Когда он узнает, что Пушкин пил и был бабником, — ему делается на душе легче, потому что он такой же. Только он не пишет «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» — а в остальном он вроде такой же. Он считает, что жизнь состоит сплошь из мерзостей.

— А как по-вашему?

— А я считаю, что вся жизнь состоит из чудес. Со мной, например, чудеса происходят без конца.

— Вопрос: с каким знаком?

— Я хочу, чтобы чудеса были со знаком плюс, и такое явление, как Сталин, для меня не чудо, а необъяснимая аномалия.

Жизнь сама по себе удивительна — и нужно ей доверять. «Вот я хочу непременно этого!» — а может, жизнь подталкивает тебя на что-то другое, еще и лучше. Я всегда слушался жизни, а не своего глупого разума. И жизнь интересна, когда живешь в ней, а не делаешь ее по своему произволу желанно. Вот это ужасно, когда человек хочет того, чего он не может. Многие хотят чужой судьбы. У человека есть судьба, а он хочет не своей судьбы, а судьбы Ивана Ивановича: какая у него машина, дача, какой забор построил, понимаете ли, высокий... Вот он хочет той судьбы — а может быть, та судьба хуже его, только он этого не видит.

(Окончание на 9-й стр.)

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Сидел у меня один писатель и ныл весь вечер, как плохо ему. Я терпел-терпел, и уж когда проводить вышел, говорю: «Как вам не стыдно, вы у судьбы вытащили счастливый билет, ваши пьесы идут в Москве, в Ленинграде, в соцстранах, вы обеспеченный человек, — так как вам не стыдно весь вечер у меня сидеть и жаловаться на свою судьбу?» С чем его и проводил. Так мы все можем жаловаться. Я вот болею, я хромоу, ранен сильно. Так что же теперь: «Я хромо-аю, я насча-астный...»? Фиг-два!

— Вот на критиков часто писатели жалуются...

— Это меня всегда удивляет. Писатель, по моим понятиям, стоит всегда на лобном месте — и всякий критик, зритель, читатель может пустить в его адрес стрелу, а может и положить к его ногам цветы. А писатель должен смущаться, когда кладут цветы, — потому что кладут недостойному мне, — и принимать страши, поскольку обязан это делать, если они именно ему адресованы. Вот такова моя позиция по отношению к критике.

— И вы никогда не обижались?

— Нет. Вот я приведу пример. Одна дама, критик, на мою пьесу «Вечно живые» написала отрицательную рецензию. Но написала она очень хорошо — и через несколько лет я давал ей рекомендацию в Союз писателей, ведь она действительно критик хороший. Ну как я мог обидеться, если хорошо написано, а? А то ведь, бывает, до того похвалят, что мурашки по телу: неприятно, неприятно.

— Восприятие жизни как сплошной мерзости — это ведь соотносится с литературой, не так ли?

— Я не люблю, когда в произведениях только одна грязь — без света. Ведь даже если небо в тучах, мы все равно знаем, чувствуем, что за тучами — солнце. А если бы мы знали, что солнце никогда не будет, мы бы все умерли от одного страха: ведь человек без света жить не может. Вот и в искусстве — должно быть за всем этим солнце. Хотя бы солнце самого искусства. Отчего я прихожу в восторг от самых тяжелых произведений Достоевского, от всех этих Смердяковых, Раскольниковых, Свидригайловых? Это восторг от искусства. Читал в девятнадцать лет Достоевского — и не мог усидеть, откладывал книгу и пласал по комнате от восторга.

— Так на Достоевского, пожалуй, мало кто реагирует.

— Но ведь это же искусство, это же гений! Я рядом с гением — и он словно освещает меня золотым светом. Искусство — другая жизнь, другая действительность, и она тут, с нами. И одни живут в ней, а другие — в каком-то болоте. У нас напротив торт «Птичье молоко» продают и — всегда с утра хорошо стоит в парке громадный. Без «Птичьего молока» не могут жить люди...

Мерзость нашей жизни — очередь, которая показывает наше состояние, как лакмусовая бумажка. Это мое личное горе. Особенно когда вижу какую-нибудь маленькую страничку, где нет этих хвостов дьявольских, этих пиявок, присосавшихся к дверям магазинов. Я всегда слушаю говоря: хотел бы жить, как в Норвегии. Не в Норвегии — а КАК в Норвегии. Очень понравилась эта страна — трудовая.

И вот какой парадокс меня удивляет: жизнь наша стала все-таки гораздо лучше, а у людей раздражения и даже злобы — больше. Как-то не тем живут, на теми радостями. Я еще давно написал пьесу «В поисках радости» — там все это сказано. Ведь, условно говоря, есть удовольствие — и есть радости. Удовольствие — хорошо покушать, хорошо одеться, потанцевать, весело время провести — они со временем меняются. А радости — они неизменны. Радость созидания, творчества. Радость от возможности оказать помощь другому человеку. Радость отцовства, материнства. Радость любви настоящей. Радость ощущения слияния с мирозданием. Радость мысли. Вот деньги радости никогда не доставят — они доставят только удовольствие.

— Каждому — свое, как говорится...

— И потому — хватит этой уравнилов-

ки во всех сферах жизни. Вот в газете «Правда» я прочел маленькую заметочку — но очень категорическую по тону: забыть народные традиции, «дискотеки, роки, заграничные отвратительные песни, танцы-грязушки получили широкое распространение по всей стране... люблю Глинку и Чайковского... меня возмущают многие песни, передаваемые по ЦТ... считаю, что по телевидению надо передавать такие песни, которые радуют душу и сердце». И подпись — Р. Целиков, заслуженный агроном РСФСР из Ленинградской области.

И я подумал: вот уважаемому агроному все это не нравится, но сколько людям это нравится, особенно молодым. Я вполне понимаю этого человека, не осуждаю его вкусы и пристрастия, но как же можно так категорически писать: не передавайте эти песни, не танцуйте эти танцы! Простите, почему я должен жить, как вы, уважаемый товарищ агроном? Я не хочу жить так, как вы. Я люблю народные песни — но умеренно. Новые песни и новые танцы — далеко не все понимаю, но если я этого не понимаю, то, значит, этого и не надо, что ли? Вот эта тональность мною неприемлема, особенно сейчас, в период, когда мы можем обсуждать довольно свободно аспекты нашей жизни. Вы любите народные песни и танцы, вы любите Глинку и Чайковского — ну, я скажу, вы не очень оригинальны в этом отношении. «Радуют душу и сердце»? Прости: твою душу и твою сердце радуют — так мы будем сидеть все и слушать твою радость? А у нас другие радости. А у молодежи — совсем другие радости. Вот совсем недавно состоялся у меня разговор с молодыми людьми на тему рока и, как называют они, «тяжелого металла». Для меня несколько загадочно это искусство, но вот они говорят: когда мы танцуемся в этом динамическом танце — наступают освобождение. Прекрасно. Я очень уважаю этого агронома, раз он любит Чайковского, Глинку, народные песни, но оставь других в покое. Тут ведь претензия на возврат к насилью, к запретам. И если бы это запретило, то никакого тол — у бы не было, кроме отрицательных последствий.

Или вот «Советская Россия» напечатала подборку статей о языке: мол, засоряется русский язык иностранными словами. Давайте вместо «компьютер» говорить «счетчик» и так далее. Но это же нормальный процесс роста, обновления и расширения русского языка, который тем и велик, что он — живой. А жить можно, только питаясь. И всегда русский язык питался, принимая или перерабатывая на свой лад слова из иных языков. Был уже у нас адмирал Шишков, предлагавший переименовать «тротуар» в «ходорожку», «патриота» — в «отчизнолюбца», но ничего из этой белиберды не вышло.

— Вот хотя бы и «белиберда» — слово то тюркское...

— И я не забуду, как в Греции хотел купить в лавке семена огурцов и, не зная языка, гыкал пальцем туда-сюда — и вдруг продавец говорит мне: «Огурец!» Да мы же цифры-то пишем — арабские, если уж на то пошло! Эти рассуждения «Советской России» о «засорении» языка напоминают мне конец сороковых, борьбу с космополитизмом, когда все иностранное подвергалось страшному гонению — и это отбросило нас еще больше назад, превращая страну чуть ли не в лагерь варварства. Это мелкий, узкий, гадкий национализм, гормоизаций развитие духа!

Да оставьте меня в покое, дайте мне потанцевать этот танец, дайте мне говорить эти слова, уже вошедшие в быт! Тебе не нравится — не танцуй, не говори, твоё дело. Но меня заставлять не надо, сколько можно этих нелепых ограничений... Нужно выработать терпимость к чужому взгляду и иметь право высказаться свое мнение. И нужно внимательно следить: действительно ли идет так называемая демократизация, или это опять та же удавка на горло, чтобы слова «ненужные» не вылезали...

— Но вот человек открывает прессу — и читает буквально подряд: смертность детей на хлопке, сталинские репрессии, брежневская аллилуйщина, гниющие бесценные книги, прогнившая система управления — и все такое прочее, причем далеко не все еще вслух названо... Что может спасти человека, постигающего все это, от ощущения трагедии, чтобы руки не опускались, чтобы дух не робел?

— Я считаю, что спасти его может радость от всего этого. Да, радость. Потому что это есть освобождение. Если человек понимает все это как освобождение — то он только радуется. Да, везде есть прорехи. И нашему правительству досталось страшное наследие — афганская война, и вы представляете себе муку крестную наших современных руководителей, которым должно достойно расхлебать то, что затеяно не ими. Было! Так и следы сейчас внимательно, чтобы подобное не повторилось! Как же не радоваться, что все это обнаруживается? Какой тут упадок — тут подъем духа должен быть.

Вед беседу
Алексей ЕРОХИН